

потому, несмотря на аксиоматичность распространенных гипотез и констант, поэт должен писать, будучи уверенным, что бытие Бога уже доказано, потому что Бог русской литературы — не литературный критик и понятие высшего суждения о жизни каждого из нас — существует, что и видно по стихам из сборника «Епифань».

В условиях современности сохранить великую русскую литературу возможно лишь через простодушие, через органическую слитность с простым народом. Это может показаться парадоксальным, особенно с учётом моей многолетней преподавательской работы в творческом вузе. Но я считаю, что не надо

позволять литературе уходить в мир «стихотворства», в механическое приумножение количества «текстов», как любят выражаться современные авторы. Приходится, к примеру, говорить о том, что в современном творчестве многократно встречаются «тексты», в которых совершенно отсутствует простота, там нет любви, сочувствия, сострадания, милосердия, то есть нет — самой жизни.

Меня не покидает устойчивое впечатление, что поэзия Александра Орлова воссоздает высказывание Гегеля, которое звучит так: «Главный стимул поэзии — глубокие переживания и духовные интересы, корни которых — в объективной исторической жизни, движимой “мировым духом”».

*Галина Зайнуллина*

## Нарочь не придумаешь!

Название нового романа Вадима Месяца — «Искушение архангела Гройса» — сущая головоломка. Ведь архангелы в христианстве — это ангелы высших ликов, их преданность Творцу безусловна. Какое тут может быть искушение? Вызывает недоумение и наделение архангела атрибутом тварного человека — фамилией, почему-то как у известного теоретика пересмешливого соц-арта. Хотя персонаж, пожалованный волею писателя миссией архангела (пусть и второстепенный), носит окказионально уместное имя — Михаил, иначе Микаэл, что в переводе означает «Кто как Бог». Это один из самых почитаемых библейских персонажей, верховный военачальник в космической войне с врагами Всевышнего... Впрочем, главному герою романа Гройс разрешает звать себя просто Мишей.

---

*Вадим Месяц.* Искушение архангела Гройса: Роман. — М.: Издательство «Э», 2018.

Протагонист же Сергей Юрьевич обладает если не мудреной, то ускользящей характерностью, как в авантурном романе. Из-за проблем с законом Сергею необходимо было бежать из России. Благодаря белорусскому гражданству жены он смог стать обладателем местного паспорта и взять фамилию супруги. Так, стерев личную историю и выломившись из социальной иерархии, он получил неограниченную авантурную мобильность — открылся рискованным сомнительным предприятиям, не столько по своей инициативе, в расчете на успех, сколько приспособившись к вызовам сверхъестественного.

Сергею предложил работу Фёдор Теляк — конфетный магнат Нарочанского края, который якшался с мормонами, баптистами, Свидетелями Иеговы, приваживал в избу ужей (живойтов), получая от них подземные сведения. Мало того что работа оказалась странной: развозить по «местам силы» и

кладбищам Беларуси метеоритные камни, помимо Сергея, Теляк нанял на работу мертвецов — причем отыскал среди миллионов ушедших из жизни за последние десятилетия именно его приятелей: Матвея Граубермана по кличке Гарри, погибшего в автомобильной катастрофе под Новосибирском, и Михаила Гройса, профессорского сынка, представителя столичной золотой молодежи советских лет, задушенного струной от виолончели.

Таким образом, читателю явлена проницаемость онтологической границы в северо-западном регионе Европы, тем более художественно убедительная, что очевидна она не только Сергею Юрьевичу: люди в романе воскресают то здесь, то там — возрождению из небытия персонажей коллективной памяти дивятся все. Ходят слухи о появлении в Беларуси немецко-фашистских генералов, пробуждении пулеметчика времен Первой мировой, странных перемещениях в лесу людей, похожих на партизан; в Наносах селятся два потешных старика, похожих на Сахарова и Солженицына: «По какой-то исторической иронии отцы русской демократии обрели вторую жизнь в социалистической Беларуси». Не за горами появление остатков наполеоновских армий и рыцарских отрядов Войшелки и Гедимины.

«Синеокая» страна замков и озероказывается своего рода Солярисом — гигантским живым сознанием, с которым проблематично установить контакт. Беларусь следит за Сергеем, и он не совсем понимает — зачем. Читатель следует за «Опелем» героя по дорогам его новой родины как замороженный — настолько убедительна осязаемая вещественность не поддающихся рациональному объяснению феноменов: колодец в Борках, заполнившийся пухом; улитки, заселившие дом Железной бабушки-жемайтики; веревочная лестница, повисшая в поле, среди ключев тумана; забор Теляка из булыжных секций, в которые вмурованы колеса телег, зеркала из комнаты смеха, заднее крыло автомобиля «Победа» и мотоцикл «Иж». Слог Месяца так живописен, что синтез реалистического и фантастического только крепчает от его «поэтики избытка», построенной на использовании «невозможных иррациональных ходов»: постлогичных, постсимволических, постмифологических.

В стремлении довести абсурд до

совершенства автор выплескивается из сюжетной канвы и после каждой части (из десяти глав) ступает небывальщину (выделяя курсивом) в «кунсткамерах» — собраниях коротких рассказов о дивных казусах. И тут Месяц, будучи демиургом Норумбеги — создателем фэнтезийного варварского мира с нуля, предсказуемо не нуждается в традиционном белорусском фольклоре: быличках, меморатах, легендах. Каждую «кунсткамеру» он венчает (выделяя жирным курсивом) «поклонным крестом» — этюдом о реально существующих крестах: католических, православных; запечатлевает и уникальное надгробие в форме креста у маленького немецкого военного кладбища в Засвири. Кресты в Беларуси действительно стоят повсюду, у каждого поселка, превращая ее в храм под открытым небом. Зачем же их зеркально отражать в романной структуре, воздвигая из такого эфемерного материала, как слово? Явно не для того, чтобы вычурным композиционным решением поставить «Искушение архангела Гройса» в один ряд с книгами-головоломками, наподобие «Игры в классики» Хулио Картасара и «Квеста» Бориса Акунина.

Вероятно, «кунсткамеры» и «поклонные кресты» расширяют нарративную перспективу — «я» Сергея Юрьевича: от индивидуальной, атомизированной величины до народной «экслюзивной простоты». «“На Беларуси Бог живёт” — так скажет мой простой народ» — зачин песни, звучавшей в радиоприемнике водителя рейсового автобуса по дороге из поселка Герваты Гродненской области, восхитил Сергея: «Никаких тебе размышлений, никакой риторики про Град Божий и Небесный Иерусалим». Ведь сам-то Юрьевич (при всей статичности) достаточно сложен и тонко организован. Он сведущ в психоанализе, рефлексивен: выслушав по старорежимному приемнику «Спидола» в магазине «Певник» военную доктрину Лукашенко, замечает в себе ранее не наблюдавшуюся подверженность влиянию пропаганды: «Когда в мужских словах есть логика и страсть, их нельзя не услышать». Сергей вообще проникается уважением к тем, кто отваживается на логоцентризм, даже к спецслужбисту Максиму Шаблыке, который чуть не пристрелил его на лесной дороге, соединяющей Кобыльник с Купой. Потому

как сам Сергей — стихийный медиатор, посредник между мирами. Ничто для него напрямую ничего не означает: «В каждом шуме, в каждой самой идиотской фразе есть что-нибудь сказанное и для тебя. Это не лозунг, не наставление, не намек. Просто нечто, невольно продвигающее тебя к пониманию того, что с тобой происходит».

Знаки и символы управляют сознанием Сергея Юрьевича, а не национал-патриотические и либеральные дискурсы. Управляют с того момента, как после реалистической экспозиции первой главы он выехал из Мядельского лесничества и около Ильи, агрогородка в Вилейском районе, во время заправки на АЗС, похожей на бивуак анархистов, невозможные азиаты — «японские коммунисты в изгнании» — тайком нанесли на дверцы его машины лихо закрученный иероглиф. Чем-то он напоминал логотип Пенсионного фонда России: гора с шапкой облаков над ней, при внимательном рассмотрении кажущаяся злобным лицом самурая или черта с короной на голове. В пользу сравнения свидетельствовала реакция людей на «страшное совершенство» закорючки: молодые при виде ее разбежались, а пожилые обрушивались на колени. Что бы то ни было, Сергею даровали неограниченное могущество. Тем не менее, опробовав соблазн на рассветных улочках райцентра, он со смущенной улыбкой признал его баловством и смыл надпись на автомойке в Минске.

Но что не положено Сергею Юрьевичу с обывательскими приоритетами существования — жена, дети, — то положено архангелу Гройсу, а именно: неразборчивое истребление людей, детали существования которых ему «фиолетовы» (он видит их как темные пятна, порой с «газообразной шерстью» вокруг). Впервые Михаил появляется в главе «Купалинка» — длинноволосый, неопрятный, с одутловатой от пьянства физиономией. А в финале черты его лица разглаживаются и вытягиваются, напоминая средневековую картину. Сквозь «удивительную низменность поведения, визгливый голос, хвастовство, привычку говорить либеральными штампами» в Михаиле произрастает тайна; с репликантами Черноярным и Грауберманом он начинает общаться на енохианском языке.

Одновременно с метаморфозой Гройса

проясняется и сокровенный смысл сизифовых стараний Сергея: оказывается, камни, которые он таскал с места на место по всей стране, в действительности были осколками взорвавшегося небесного тела, которые обрели покой в грунте иных планет; они должны сложиться в слова, от которых зависит будущее Беларуси. Остается лишь поднять со дна самого большого озера — Нарочь — последний камень...

Итак, энциклопедические экскурсы в историю края, еврейский вопрос, философию и идеологию, перебродив в мехах авантюрного романа на дрожжах магического реализма, превратились в квест. Языческая в основе Беларусь воспротивилась библейскому «В начале было слово» — из ее лесных недр посыпались «страшные, как лохматые мешки, кабаны... кабаны... кабаны...», чтобы помешать толпам католических и православных верующих осушить озеро: встать на колени и пить воду — «горстями, пригоршнями или опуская в воду лица, как звери». А архангел Гройс на туристическом «Ми-1» повел к ним на подмогу свой легион — недоволенные души, жестоковыйно кроша из автомата, как в голливудском боевике, кабанов и людей: «Лес рубят — щепки летят».

Однако в итоге Слово не было найдено: скрепляющую скрижаль следовало искать где-то в устье реки Скемы. И благодарный Жемойт, хозяин этих земель, «пахнувший сапропелем, водорослями, рыбой, мириадами утопленников и бальзамом “Старый Брест”», прижался к животу Сергея: честь и хвала тому, кто не осушал Нарочь вместе со скопищем! Небозримая длина тела исполина уходила в просторы сырых лесов и шелестящих полей, расплзалась по множеству тропинок и ручейков из Нарочанского края в Литву, Восточную Пруссию, может быть, даже в Польшу... Что ж, тотем вполне иероглифичен, попробуем воспринять его напрямую, «без включения интеллекта, минуя возможности анализа и интерпретации».

Собственно, автор склоняет нас к инсайту на протяжении всего повествования: мы можем лишь догадываться, какая мощь таится в бронзовом ключе байкерши Серафимы, «напоминающем о пиратских кладах и тайне черепахи Тортиллы»; вместе с мужем Леры Дубинской безуспешно ищем ответа на

мучительный вопрос, почему все ее родственники облачены в оранжевые штаны; разделяем ужас Андрея Шнурапета перед шарообразным валуном, напоминающим часть фасада советского Дома культуры, на дне Мядельского озера. Тот же Фёдор Теляк логически не схватываем: с одной стороны, его монологи выдают в нем литвинского националиста в духе Зенона Позняка, с другой — он хочет способствовать восстановлению СССР путем производства конфет «Мишка на

Севере», «Красная шапочка» и «Алёнка». А уж какую шараду преподносит главному герою супруга Илана, забрюхатев от мужа своей лучшей подруги Рогнеды!.. В разы затейливее беременности воскресшей Святой Лолы — бывшей возлюбленной Сергея.

Искушение дать исчерпывающее объяснение всему этому оставим архангелу Гройсу, а нам, простым смертным, достаточно откупорить шампанского бутылку и перечитать роман Вадима Месяца, полный переменчивых разноцветных картин.

*Дмитрий Артис*

## Образ женщины

В моем детстве проезд на городском автотранспорте стоил пять копеек. Зимой контролеры почти не ходили. Было холодно. Поэтому зажимал пятачок в ладони, забегал в автобус и, пробираясь сквозь толпу, норовил усесться к окну. К пронырливости ребенка окружающие относились снисходительно. Никто не ругался. Устроившись в уголке, приложишь нагретую монетку к оледеневшему стеклу, обождешь пару минут и готово — можно смотреть на улицу через образовавшуюся на морозных узорах пятикопеечную проталину: «Куда меня везёт «двенадцатый» трамвай? // Опомнись, оглянись — к Некрасовскому рынку...»

Еще на зимнем окне удобно было рисовать всякие домики, человечков, писать дорогие и близкие имена, а потом, выйдя из автобуса, понимать, что вот этот мир, который ты придумал и оставил там — на окне, поехал своей дорогой. Пассажиры заходят в автобус, смотрят на него, будто книгу читают, улыбаются, должно быть, думают о чем-то своем, и так становится хорошо и спокойно.

Елена Елагина. Зимнее окно. — С.-Пб: Союз писателей Санкт-Петербурга, 2017.

Важно было записать именно такое вступление перед тем, как начну рассказывать о книге стихотворений питерского поэта Елены Елагиной «Зимнее окно», чтобы читатель смог поймать атмосферу живого небытия — хоть и трагической, но романтики, ту самую, которую почувствовал я — во время чтения.

*«И геометрия стального классицизма // Спрямяет гласные, согласные чеканит // Подобно профилям на памятных медалях, // Где волосок прилеплен к волоску».*

Елена Елагина удерживается в пограничном состоянии между сном и реальностью, между миром настоящим и миром выдуманном (кое-где с перебором «книжным»). Даже если уходит в воспоминания — в прошлое, то будто заглядывает в будущее, оценивает его, примеряя на себя: удобно ли в нем существовать — может что-то перекроить, переделать на скорую руку или же все-таки оставить таким, какое получилось? (Женщина перед зеркалом?)

Автор охватывает две прямо противоположные вселенные — условно назову их «ад» и «рай» («Где маятник скользит бесстрастно: к раю — к аду») — при этом сознательно остается между ними (как тот